

Демонстранты расплозились, рассеялись по всем направлениям. Растаяли в качающейся тени скверов, садов, бульваров, площадей. Отдыхают, чтобы с выходом солнца снова развернуть алый шелест знамен, начать свое победное шествие по улицам насторожившегося в смутной тревоге города.

Чтобы, протестуя против войны, еще раз прокричать на весь мир о своей проснувшейся огромной силе и энергии в разрушении старого и создании нового порядка вещей.

Чтобы снова, построившись в серые квадраты плотно жмущихся друг к другу тел, переполнить дотказа бетонные коридоры проспектов, улиц, переулков, тупиков, взбудоражить и залить город пенистым, сердито урчащим потоком человеческой лавины.

Чтобы снова четким выкриком песен, звоном сотен оркестров, оглушающим гулом барабанов повергнуть в озноб, жуть, ужас и немую оторопь нахально и трусливо сверкающие платиной, жемчугом, изумрудами, брильянтами зеркала витрин.

Чтобы снова заставить замолчать скрипки и виолончели кафе, баров, шантанов, ресторанов, театров, кино и залитых матовыми огнями зал.

Чтобы снова сказать сотнями тысяч огрубевших, голодных, сведенных отчаянием глоток властное:

— Довольно!!!

*

Таврический сад — цыганский табор. Во всех аллеях расположились живописно пестрые группы солдат, рабочих и женщин. Братание полное. Серые гвардейские ши-

нели обнимаются с засаленными кожанками выборгских слесарей, с яркими фуфайками текстильщиков. Запахи прелых шинелей, овчин, прогорклого человеческого пота струятся в охлажденном воздухе.

Горят костры по всему саду и на прилетающих к нему улицах.

У парадного подъезда дворца пылает громадная охалка березовых дров, переложенная сухими досками и сеном.

Веселые пляшущие языки пламени лижут прозрачную пелену тумана, спиралями идущего с моря, от Невы.

У костров греются. Кипятят чай. Прикатали походные кухни. Варят ужин.

В коленкоровой пасмури ночи, дрожащей в озареньи шипучих костров, льются задушевные речи рабочих и солдат.

Таврический дворец в крепком кольце многотысячной возбужденной массы. Он точно средневековый замок, осажденный врагами.

Через каждые полчаса к парадному подходят все новые и новые колонны. Настойчиво вызывают засевших там министров «держать речи».

Министры выходят испуганные, жалкие, с меловыми лицами, точно конокрады, пойманные мужиками. Пытаются уговаривать. Просят разойтись по домам. Дают обещания. Но не верят больше министрам...

Какого-то министра чуть не избили. За него вступился известный большевик Каменев. Выручил.

Власти в Петрограде нет.

Что-то скажет завтра петроградский совет? От него все зависит.

*

Чудеса в совете! Петросовет большинством голосов принял резолюцию с отказом от власти...

Весь гарнизон, все рабочее население единодушно кричит тысячами своих знамен:

— Вся власть советам!..

А совет, возглавляемый эсэровскими и меньшевистскими мямлями, говорит:

— Я не хочу власти!..

Избиратели приказывают, а избранные плюют в лицо своим избирателям и называют их немецкими шпионами.

Встретил знакомого сапера-бородача. Он ругает меньшевиков и эсэров.

— Вот, жулики! Не берут ведь власть-то, а?? И что нам с ними делать теперь, с предателями?!

— Нужно разойтись по домам и немедленно организовать перевыборы совета, — подсказывает бобриковая фуражка.

— А как ты их, паршивцев, переизбирать станешь, ежели у них мандатам срок не вышел? — спросил какой-то законник.

На законника набросилось сразу несколько человек.

— К чорту сроки! Революция теперь али нет?

— Долой их, подхалимов!

— Продают нашего брата!

— Снюхались с буржуями...

— Переизбирать надо!..

— Большевиков, чтобы всех до одного ввести!

*

Несколько часов под ряд к Таврическому дворцу идет волна ратников последнего призыва.

Говорят: их сорок пять тысяч.

Мобилизовали накануне Февральской революции. Загнали в грязные казармы около Николаевского вокзала и... забыли о них в сутолоке событий.

Им не давали ни обуви, ни белья, не обучали на строевых занятиях. И эти сорок с лишним тысяч пожилых, обремененных семьями мужиков в самые горячие месяцы деревенской работы сидели, ничего не делая, в казармах на голодном пайке.

Сидели и гадали на пальцах. Распевали свои унылые мужичьи проголосные песни.

Теперь они вышли на улицу и тяжелой поступью, подпоясанные веревками, поясами, в холщевых рубахах, в рваных бахилах, в распутивших усы лаптях, с налитыми кровью глазами, как зубры, встревоженные волчьей стаей, идут демонстрировать против временного правительства.

На казенных фуражках ярко отсвечивают приплюснутые кокарды. И только по кокардам видно, что это солдаты.

В лице этих грязных ратников с всклокоченными бородами и волосами идет протестовать против войны и империалистической политики Керенского вся необъятная мужицкая Россия.

Земляная стихия требует мира и земли. Корявые буквы плакатов грозно и властно кричат:

— Долой войну! Довольно крови! Довольно жертв! Это наша воля. Горе тому, кто будет ее игнорировать!

Старенький отставной генерал, оглядывая полчища ратников, их наскоро сшитые красные знамена с неуклюжими безграмотными надписями, испуганно бормочет:

— Господи Иисусе! И откуда их прет столько?.. Что за войско? Что за войско? Это — не армия... а разбойника Чуркина шайка какая-то! Господи, до чего довели Россию нынешние правители!..

К генералу подходит коренастый белобрысый солдатик с винтовкой на ремне, увешанный патронами. И, стянув в злобной усмешке толстые красные губы, не своим голосом кричит:

— Замолчь, старый хрен! Как ты смеешь против революции агитацию пущать?? Кто такой? Хошь, я тебя сейчас в Петропавловку представлю? Ты у мене поговори, паршивец!

Генерал, нахлобучив на глаза потертую фуражку, испуганно юркнул в толпу.

А солдатик медленно двинулся по тротуару, чутко прислушиваясь к разговорам публики.

•

Это произошло на углу Литейного проспекта и Шпалерной. Надвигался вечер. Главные силы демонстрантов прошли и находились в районе Невского. Многие колонны расходились по домам.

Со стороны Таврического по Шпалерной мирно двигается с песнями, с музыкой радостно возбужденная пешая толпа. Идет пулеметный полк попеременно с женщинами-работницами табачных фабрик.

Навстречу, тяжело громяхая по камням мостовой, сотрясая грунт, точно стайка огромных черепах, катится батарея. У артиллеристов ни лозунгов, ни красных знамен. Жутко и молчаливо глядят на праздничную шумящую улицу черные пасти орудий.

Батарейю прикрывает лихая казачья сотня.

Первая боевая единица верных временному правительству войск явилась из Ораниенбаума «наводить в мятежном Петрограде порядок».

Демонстранты приняли ораниенбаумцев за своих, подпустили на сто шагов.

— Разойдись по домам! — резко кричит безусый сотник, приподнимаясь в желтеньком казацком седле. — Именем временного правительства... Приказываю...

Музыка оборвалась. Но расходиться никто не думает.

Да и куда расходиться? Узкий канал. Кругом камень, бетон. Нужно: или прорваться вперед, опрокинуть казачью сотню, прикрывающую батарею, или бежать назад... Толпа демонстрантов заколебалась в нерешительности. Вожаки совещаются.

Сотник подает команду. Сверкнула в воздухе сталь клинков, приготовленных к рубке человеческого тела.

Сотник шпорит танцующего под ним рыжего жеребца и опять, приподнимаясь на стремянах во весь рост, властно кричит:

— В атаку! Марш, марш!

Сотня на маленьких крепких лошадках вылетела вперед батареи. Пригнувшись к седлам, казаки с гиканьем понеслись навстречу демонстрантам.

Артиллеристы завозились около пушек.

Расстояние коротко.

Секунда, другая, и бьющие без промаха, поражающие на-смерть казачьи пашки обагрятся кровью... Погаснет веселый смех, улыбки скорчатся в последней гримасе безвольно замирающих тел. И останутся навсегда скованные ужасом зрачки.

Людское стадо испуганно шарахнулось к панелям.

На середине улицы остался невидимый дотоле защитного цвета грузовик. Пыхтя и чужфрыкая, неуклюже повернулся он туловищем поперек улицы, смертным огнем двух пулеметов, стоящих на левом борту кузова, харкнул в лицо подскакавших вплотную казаков...

Кажется, опоздай пулеметчики на одну секунду, было бы поздно.

Лошади приняли на себя первые горсти свинцовых орехов. В предсмертном храпе, в судорогах падают у самых колес грузовика на обожженный солнцем камень, заливая его кровью, калом, высыпавшейся из разорванных ран на животе требухой.

На убитых лошадей падают здоровые, давя людей, калечат груди, ломают ноги.

Молодой сотник, взмахнув в последний раз уже мертвыми руками, мешком падает с лошади. Выпущенный из руки клинок звенит в серой пыли мостовой.

Рыжий жеребец, потеряв седока, косит глазом, поводит тяжело крутыми боками, испуганно хралит, мечется в тесном кругу огня и людей.

Орудийная прислуга, спрыгнув с передков, врассыпную бежит к под'ездам, в открытые подворотни. Лохматые першероны, запряженные в пушки, потеряв ездовых, повернули к панелям.

Пушки опрокидываются в канаву, испуганные лошади бьются в тревоге, рвут построжки.

Сотня круто повернула на Литейный. Пригнувшись к косматым гривам донцов, бешеным аллюром, с гиканьем, с воем понеслись казаки в направлении к Невскому.

Летели, точно в атаку на незримого врага, который где-то далеко-далеко. Не отдавая отчета, скакали вперед. Убегали от нависшей смерти, дыхание которой жгло бритые затылки.

Подковы лошадей, звонко цокая, выбивали клубы пыли на паркетно-торцовой мостовой опустевшего в одну минуту проспекта.

Но некоторым суждено было умереть на Литейном в этот ясный июльский полдень.

От Шпалерной до Невского далеко. Нет на прямой магистрали Литейного проспекта спасения от змеиного жала пуль. Сразбега раскаряками падали дюжие крепконогие лошади, падали, чтобы вытянуться, дрыгнуть ногой, умереть...

Скачущий по прямой линии всадник — слишком хорошая мишень для пулеметчика.

Казаки под прямым углом повернули с Литейного на Жуковскую. И на крутом повороте еще упали четыре лошади; четыре чубатых всадника влипли в блестящую, как паркет, поверхность мостовой...

Потеряв добрую половину состава, сотня ушла от смерти...

Только один вороной жеребец, раздувая кроваво-красные ноздри и фыркая, несется прямо по Литейному на Невский.

Раненый казак свалился с седла. Нога-предательница завязла в стремени. Жеребец тащит всадника по мостовой. Голова казака, вышелушенная от мозгов, прыгает, как футбольный мяч. Седло сбилось на бок.

Когда затарахтел на грузовике пулемет, обыватели, вооруженные лорнетками, театральными биноклями, зонтиками, беспечно глядевшие с панелей на «развертывающиеся события», ринулись в ворота и под'езды своих и чужих домов. События приняли не совсем приличный оборот. Созерцать становилось опасно.

Дворники, тоже созерцавшие «события», согласно инструкции домовладельцев, захлопывают калитки перед носом перепуганных людей, во двор «не пускают».

Давка у под'ездов, у ворот. Женщины-истерички падают в обморок.

Пулеметы рокочут на самом Литейном. Им вторит беспорядочная ружейная и револьверная пальба.

Об'ятые смертным страхом, люди липнут в канавы, ниявками присасываются к тумбам, к столбам, к ступеням крыльца.

Выдавливает стекла подвальных этажей, мешками скатываются в чужие квартиры, дико вопя, как в час небывалого землетрясения.

Давят, калечат друг друга. Режутся в переплетах рам оконным стеклом. Застревают в прорезах окон, кусают друг друга, тузят в бессильной ярости кулаками.

Демонстранты вели себя с поразительным хладнокровием, с выдержкой. Паника была и у них, но они быстро взяли себя в руки, преодолели ее.

*

Демонстрация сегодня пошла на убыль. Люди устали. Надоело без толку бродить по улицам. Расходятся по фабрикам, по казармам, унося в бунтующих душах накипающее негодование против колеблющегося, соглашатель-

ского большинства совета рабочих и солдатских депутатов.

Трупы казаков убраны, но убитые лошади еще лежат. Лежат со страшно вздувшимися животами, вытянув шеи и оскалив широкие желтые зубы. Под ними лужи бурой засохшей крови.

Разит кислой падалью. Пешеходы, проходя мимо, затыкают носы платками и негодуют на власть, которая четыре дня не очищает улицы.

Они — чудаки, эти прохожие: никак не могут понять, что власти почти нет. Никто, от милиционера до премьера, не чувствует под ногами земли.

До лошадей ли тут?

Темные личности сеют тревожные слухи. Призывают к погромам. Одного агитатора, призывающего к погрому винных складов, солдаты отдубасили прикладами.

Говорят, что в Петроград для «усмирения бунта» едут с фронта полки.

Обыватели ожидают резни, грабежа.

Но так или иначе — петросовет кончил свое существование. Армия — единственная сила, на которой держится власть. Петроградский гарнизон занес свой штык над советом нынешнего состава. Если перевыборы не удовлетворяют, штык опустится и сделает свое дело.

•

Правительство обвиняет большевиков в организации демонстрации 3—4 июля.

Часть лидеров арестована. Ленин скрылся. Может быть, его схватят сегодня—завтра. Говорят, есть приказ о его аресте. Его усиленно разыскивают.

Правая печать прямо зовет к самосудам над большевиками.

Журналисты, от Суворина до Д. Заславского включительно, с пеной у рта вопят о plombированном вагоне, о грудах немецкого золота.

Ленина готовятся казнить, расстрелять.

Если сегодня схватят и растерзают Ленина, этим ничего не докажут.

Его идею убить нельзя.

Несокрушимая сила Ленина в том, что он предвидит ход истории. И потому его дело победит.

*

Приехал с фронта кавалерийский полк. Кавалеристам внушили, что на их долю выпала великая честь очистить Петроград от мятежников, которые якобы бунтуют лишь потому, что боятся воевать, «дрожат за свою шкуру».

Кавалеристы ходят павлинами, держат себя вызывающе. Гвардейцев называют шкурниками.

Наши солдаты уже имели с ними в Таврическом несколько мелких стычек.

Горячие головы предлагают атаковать кавалерийские казармы, обезоружить и выставить «спасателей» временного правительства из Петрограда.

На дворе очередной митинг.

Грузный скуластый солдат, стоя на бочке, громит кавалеристов. Повернувшись к публике задом, упрямо спрашивает председателя:

— Были мы с тобой на фронте?

— Ну, были, — нерешительно говорит председатель.

— Были мы ранены?

— Были, — подтверждает председатель.

— Ну, а вот наши товарищи, собравшиеся здесь на митинге? Они были ранены?

Председатель недоуменно трет широкий свой лоб.

— Да, к чему ты это пристаешь? Все знают, что были. Есть по три—четыре раза раненые. В чем дело? По существу говори. Ближе к делу. Текущий момент у нас в порядке.

Оратор удовлетворенно трясет головой. Повернувшись лицом к слушателям, он снова возбужденно говорит, отчаянно болтая длинными руками:

— Мы — фронтовики, товарищи. Так как они, эти красноштанники, могут нас «тыловиками» обзывать? Наехали сюда сытые, краснорожие, гладкие, как борова; сами ни в одном бою не бывали, за сто верст от позиции баб щупали, а теперь нос задирают.

В толпе движение.

— Знамо дело! Правду сказал! Подтвердим! Видали мы кавалерию в бою...

Председатель звякнул колокольчиком.

— Не прерывать оратора, товарищи.

Оратор, точно боясь, что не дадут ему кончить речь, нетерпеливо переступает на бочке ногами.

— Так-то, товарищи. А теперьча нам здесь проходу не дают. Мы трусы, мы шпионы немецкие, мы семечками торгуем. Долго ли будем терпеть, товарищи, такое измывательство? Предлагаю революционным порядком разоружить кавалеристов... А не дадутся — побить всех в лоск. Каки мы шпиены? Какой я, например, шпиен? Кто из нас золото немецкое нюхал? Без табаку, без сахару сидим, животы с голодухи подвело, а тут, накося,

золотом попрекают. Доколь поклепы сносить станем?
Довольно! Прекратить пора!

— Правильна!

— Согласны!

— Правильна-а-а-аа! Дашь!..

Долго кричали, заглушая маленький колокольчик председателя.

Шмелями гудел оскорбленный полк.

Слово взял себе председатель.

Заговорил деловито, без пафоса.

— Погоди, ребята, не торопись. Не с того конца начинать хотите. Кавалеристов зря на нас науськали. Головы обморочили им. Они, дураки, под чужую дудку пляшут. Будет время, и их обработаем. Все равно верх наш будет. Пусть сюда хоть весь фронт гонят. Не страшно! Мы их словами дойдем. Слово — ежели оно справедливо — хуже пулемета. Против слова никто не устоит. Правда на нашей стороне. По душам надо беседовать с ними... А уж ежели не пройдем словами, не опомнятся — пусть не серчают. Стрелять умеем. Пулеметов хватит. Не такую кавалерию видали... В порошок сотрем, не посмотрим, что свои.

С председателем большинство согласилось.

•

— Это футуризм! Это футуризм!

Женщины и мужчины обступили мрачного брюнета и, перебивая друг друга, размахивая у него под носом кулаками, что-то горячо доказывают ему.

■

Духовенство развернуло кампанию против революции и против пораженческих настроений.

Повидимому, отцы духовные располагают солидными средствами. Чуть ли не каждый день из синодальной типографии к нам в казармы присылают тюки литературы.

Все эти поповские брошюры и листовки написаны популярно, увлекательно. Понятны каждому солдату. На тысячи ладов доказывается, что нужно воевать с немцами, с австрийцами и турками до победного конца. Тем солдатам, которые отказываются воевать, отцы духовные угрожают всеми муками ада. В доказательство своей правоты приводят десятки имен пророков, святых угодников, богословов.

Брошюрки свои они раздают бесплатно. Против революции выступают пока осторожно, ругают только большевиков, да и то иносказательно.

Но и в этом вынужденном косноязычии ясно проскальзывает глубокая ненависть духовенства к социализму вообще.

Жандармы в рясах проглотили бы с удовольствием всех социалистов и всех революционеров.

Правых социалистов попы терпят, как неизбежное зло. Они очень хорошо знают поговорку древних греков: «Когда не спасает тигровая шкура — одевай лисью».

Во всей казарме не найдешь ни одной социалистической книжонки, а поповская литература валяется по всем углам.

Мне кажется, что все синодские послания к пастве и к «христолюбивому православному воинству» являются вечерним изданием кадетских газет. Кадеты, перепуганные революцией, правят не по дням, а по часам. Миллю-

ков скоро будет правее Николая Романова, а Милюкова считают самым левым из кадетского лагеря.

Если с поповских брошюрок смахнуть божественный туман, елейную иносказательность эзоповского подчас языка, их не отличишь от набоковских и милюковских «произведений» подобного рода.

*

Буржуазно-дворянские круги шумят сейчас о защите родины больше, чем в 1914 году. Кажется, все средства и силы брошены на то, чтобы заставить армию наступать.

Но армия не желает наступать.

И тем яростнее становится проповедь патриотизма и шовинизма.

Несмотря на то, что крупных боев почти нет, русская армия потеряла ранеными с января 1917 года по август месяц триста тысяч человек.

В армии свирепствуют болезни: больных за этот период выбыло из строя почти полтора миллиона.

О числе убитых газеты пока не пишут. Оно, вероятно, тоже значительно: особенно после хваленного июньского наступления.

И люди, обитающие в тылу, не перестают возмущаться, что армия пассивна, что она утратила свой патриотический дух...

Ура-патриоты готовы всю Россию — за исключением себя, разумеется — загнать в окопы. Они похожи на зарвавшегося игрока, который ставит на карту последние гроши в надежде отыграться.

*

В городе нет хлеба. Нет съестных припасов. Голодают все. Но больше всего солдаты, рабочие.

У магазинов огромные очереди обывателей. В одной руке—корзина, в другой—карточка.

В очередь приходят с вечера, чтобы утром раньше получить. Женщины приносят с собой подушки, кладут их к стене и, притулившись к ним, сидя на панели, дремлют всю ночь. И никто их не гонит, все к этому привыкли.

Очередям дали странные название: «хвосты».

На-днях был у одного знакомого, спрашиваю:

— А где ваша жена?

— В хвосте...

У витрин молочных магазинов стоят целый день толпы обывателей. Глазеют на выставленные головки сыра, на круги масла. Так глазели раньше на бриллианты и золотые безделушки в ювелирных магазинах.

Контрреволюционеры надеются, что голод погубит революцию...

На-днях проходил по Обводному каналу. Обтрепанный армеец в истасканной длиннополой шинели с чужого плеча продает из-под полы буханку черного хлеба. Собралась толпа. Солдат ломит за хлеб цену неслыханную. Каравай переходит из рук в руки. Его любовно щупают руками, мнут корку, отщипывают кусочки и пробуют на язык, но купить каравай никто не решается.

Солдату надоел бесплодный торг.

— Да ну вас всех в болото! — он выхватил каравай и собрался уходить.

Тогда кто-то из толпы истерично крикнул:

— Мародер! Бей его, братцы!

Солдата схватили, сбросили в воду, начали топить.

Как на грех, солдат оказался прекрасным пловцом и причинил своим палачам массу хлопот. Он никак не хотел тонуть в узком вонючем канале. Подолгу держался под водой и неожиданно всплывал где-нибудь у самого берега.

Тогда на него с улюлюканьем и бранью бросались несколько десятков озверелых людей. Кидали камнями, палками, поленьями, сухим песком, чтобы засыпать глаза, ослепить...

— Мародер!

— Спекулянт!

Особенно неистовствовал седенький старик с пепельной бородой.

— Тони, тони лучше добром, а то требуху выпущим!—орал он на отчаянно барахтающегося в воде солдата. Молодо, бойко перепрыгивая через поленья и плахи, радостно хихикал, когда бритая голова жертвы скрывалась под водой.

В конце концов солдат измучился и, обессилив, пошел ко дну.

Но услакоенная толпа еще долго не расходилась, точно не веря в смерть своей жертвы.

Суетливый старичок в нанковом пиджаке, потирая сухие костистые руки, авторитетно говорит:

— Бесприменно вынырнет где-нибудь, сукив сын. Ух какой, я вам доложу, жилистый, не приведи господи! Сам руку щупал выше локтя. Пройдет с полверсты по дну реки и вынырнет, где людей нет.

— Не может быть! — возражают ему из толпы.

— Вот те и не может! Завтра он опять каравай про-
давать будет, а мы с тобой без хлеба пить чай станем.

Толпа, ворча и проклиная хлебный кризис, медленно
расходится.

Самосуды растут. Судов нет. В овощном ряду у ла-
база с капустой стояла большая очередь. Передние уви-
дали в углу лабаза несколько гнилых кочанов капусты.
Подняли гвалт. Сзади кто-то подал команду:

— Бей лавочника! Стноил товар, подлюга!

Бросились бить. Лавочник вырвался и убежал. Со
всех сторон напирали любопытные. Получилась давка.
Повара из вегетарианской столовой, стоявшего в белом
фартуке в очереди, приняли за хозяина лабаза, избili
до полусмерти... Переломили несколько ребер, вышибли
глаз.

Член полкового комитета Форфанов, захлебываясь от
смеха, рассказывал мне:

— Понимаешь, был я сейчас в Кексгольмском полку,
и что там понаделала наша бражка — уму непостижимо.

Собрали летучий митинг в Александровском сквере.
Как всегда, буржуи обзывали солдат шкурниками.

«Кексгольмцы слушали, слушали,—вышли из сердца.
Побежали в казармы, похватили винтовки, оцепили сквер
и арестовали всех буржуев.

Пригнали человек триста в казарму, втиснули во
взвод. На двери замок. К замку часового. Против окон—
часового. В уборную без конвоя не пускают.

Буржуи, конечно дело, перепутались: что вы, дескать, с нами делаете, товарищи и граждане солдаты?

А кексгольмцы им отвечают:

«Вы все кричали: «Война до победы» — вот мы вашу храбрость проверим. Не угодно ли с маршевой ротой в окопы?»

С буржуев песок посыпался:

«Отпустите хоть с женами проститься! — взмолились они перед солдатами. — Письма хоть послать разрешите».

Скулят все, воют. Заболели: кто поносом, кто чем. Врача требуют.

А солдаты никаких не признают. Стоят на революционном своем посту — и все.

«Будете шуметь — перестреляем здесь же в казарме». — Это они буржуям.

Буржуи притихли. Смирились. Сидят уж четвертый день. На паек их зачислили, кормят помаленьку. Не кормить совсем тоже нельзя — подохнуть могут.

— Что же, отправят они их на фронт? — спросил я Фофанова.

— Не знаю, — ответил он скороговоркой. — Командир полка вишь шеперится. «Не имеем, говорит, законного права на это дело. Я, говорит, под суд за вас пойду». А солдаты говорят: «Наша теперь власть. Как хотим, так и делаем».

Пожалуй, отправят.

*

Перевыборы в Петроградский совет. Собрание бурное, как никогда. В казармы явились представители от всех

партий, за исключением кадетов. Кадетские ораторы боятся выступать среди солдат: не одного уже поколотили...

Кадеты сошли со сцены. Борются две силы: эсеры и меньшевики, с одной стороны, большевики — с другой.

После ожесточенных прений большевики на нашем собрании одержали верх.

Их лозунги, бросаемые с трибуны ораторами, каждый раз вызывали взрыв искренних аплодисментов.

В совет выбрали сочувствующих большевикам: Дерюгина, Игнатова и Чичкина.

Для контроля над депутатами (за кого они будут голосовать на заседании) выбрали Петрова. Ему вменили в обязанность сидеть в зрительном зале и не спускать глаз с своих представителей.

Уполномоченный по перевыборам возражал против такого «недоверия» к только-что выбранным депутатам. Не послушали.

А депутатам дали короткий словесный наказ:

— Ежели в совете будете за буржуазные резолюции голосовать, войну до победного конца приветствовать, не показывайтесь в казарму... С четвертого этажа в окно выбросим!

*

Называют события. Не сегодня—завтра на улицах будут строить баррикады. Вторая революция неизбежна. Борьба обещает быть жестокой.

Нужно четко выявить свое отношение к грядущим событиям.

Но сделать это так трудно.

Я стою на распутии.

К большевикам меня притягивают одни моменты и отталкивают другие.

Я обращаю свой взор в сторону Короленко и Горького — к их голосам всегда прислушивался. Но сегодня я ничего от них извлечь не могу. Они сами запутались в событиях. Горький определенно против новой революции, против большевиков. Но он же против войны и, стало быть, против эсэров и меньшевиков, которые после ухода со сцены кадетов монополизировали право кричать о войне до победы.

Со страниц «Новой Жизни» Горький обстреливает и правых и левых. По его мнению, все делают не то, что надо. Все губят революцию.

В офицерском клубе давали ужин в честь навестивших наш полк офицеров французской службы.

Достали коньячку, шампанского, и все были навеселе.

Начались тосты. Пили за французскую армию, за французского президента.

Кадровые офицеры предложили тост за великого князя Николая Николаевича, шефа нашего полка. Несколько человек новоиспеченных выборных офицеров (из бывших фронтовых унтеров) запротестовали, но бокалы осушили.

Офицеры предложили тост за бывшего императора Николая.

Молодые энергично запротестовали. Протест поддерживали и французские гости. Они, как офицеры республиканской армии, не могут пить за сброшенного с престола монарха.

Пререкания перешли в скандал.

На пол полетели тарелки, ножи, вилки. Обе стороны схватились за сабли.

Кадровое офицерство смяло республиканцев и выбросило их за порог клуба.

Многим основательно пересчитали ребра. Одному прапорщику расквасили тяжелой бутылкой из-под шампанского физиономию.

— А все-таки царя вам не видать! — кричали республиканцы по адресу кадровиков.

— А ваш Керенский — крещеный жид! — выкрикивали в свою очередь реакционеры...

В помещение нашей роты вбежал взволнованный вестовой из офицерского клуба.

— Братцы! В клубе наших выборных офицеров избивали. Старые офицеры пьют за здоровье Николая Романова. «Боже, царя храни» поют.

Час ночи.

Разгар солдатской гульбы. Народу в казарме мало: часть в карауле, часть танцевала в соседнем батальоне вальсы и кадрили.

Домовничали лишь старики, больные да не умеющие танцевать.

— Проучить их, сволочей, — рявкнул отделенный Живов и первым бросился к пирамиде за винтовкой.

В пять минут оделись и вооружились все до одного, кто был налицо.

Сжимая в руках винтовки, бросились в клуб на расправу с теми, которые «хочут царя» и смеют открыто заявлять об этом.

Клубных гуляк кто-то предупредил.

Прибежавшие солдаты не нашли в клубе никого. На полу валялась побитая посуда, сорванные погоны, ключья одежды.

В мутных лужах вина и пива плавали окурки.

*

Был в казарме представитель Петросовета.

Записывал желающих—из окончивших учебную команду—обучать военному делу организующиеся на заводах отряды Красной гвардии.

Я записался. Работаю уже месяц. Занимаемся три раза в неделю по вечерам. В воскресенье—сверх программы—четыре часа. У меня целый взвод в сорок восемь бойцов. Шагистику откинули. Проходили основные правила стрельбы. Принципы ведения полевой и уличной—в городе—войны.

Народ смышленный. За месяц многие в совершенстве научились обращаться с винтовкой и пулеметом. Отношениям с учениками не нарадуюсь.

Сегодня по окончании занятий на заводском дворе ко мне подошел один из моих учеников, фрезеровщик Кондрашов, и, краснея, путаясь в словах, сунул мне в руку двадцать рублей.

Плата за мою работу.

— Это товарищи собрали меж себя добровольно, показали мне вручить вам, — пояснил он. — В следующий месяц тоже соберем, так что вы уж будьте без сумления. Мы не эксплуататоры, знаем, что вас кормят теперь не ахти.

При других обстоятельствах эта подачка возмутила бы меня и я бросил бы работу.

Но сегодня она, эта милая чуткость и заботливость, так умилила и глубоко взволновала меня.

От денег я, конечно, отказался, хотя финансы мои и находились в самом плачевном состоянии.

Сегодня впервые за все годы войны почувствовал я полное удовлетворение жизнью, и от этого вдруг стало так тепло и радостно на душе.

*

Большевики требуют опубликования всех секретных договоров между бывшим царским правительством и союзниками.

Союзные консулы в панике. Боятся скандала. Положение союзников глупое.

Требование большевиков разумное, но я добавил бы к нему еще один пункт: уволить со службы всех дипломатов, ибо они даром едят хлеб народный.

Заключенные договоры никого и ни к чему не обязывают.

Равновесие Европы — и всего мира — регулируется только реальным соотношением военных и экономических сил.

И так как в данный момент во всех странах у власти стоят величайшие жулики, то все и обманывают друг друга.

Дипломатия при данных условиях вырождается в никчемное пустословие.

Капиталисты всех стран хотят воевать, но в то же время лукаво притворяются, что ищут мира. Назначение дипломатов состоит в том, чтобы скрывать от широких масс населения истинное положение вещей.

Говорить о мире в капиталистическом обществе все равно, что говорить о вреде алкоголя на собрании рестораторов и кабатчиков, которые наживаются на пьянстве людей...

*

В штабе полка случайно столкнулся с командиром роты.

— Послушайте-ка, — остановил он меня, — в одно очень порядочное семейство нужен солидный репетитор для двух оболтусов. Меня просили порекомендовать кого-нибудь. Хотите, я вас устрою?

Теперь на военных сезон, вы, как старый интеллигентный фронтовик, будете украшением салона, в некотором роде.

— Благодарю вас, господин поручик. Вы опоздали. Я уже ангажирован.

— Кем? — спросил он огорченно.

— Я репетирую на Выборгской стороне сорок человек рабочих.

— Да? — острые иглы глаз впиваются в меня. — Почему же сразу сорок? Это целая школа. И куда вы их готовите: в гимназию или прямо в университет — этих «товарищей рабочих».

— Ни то, ни другое, господин поручик. Выше.

Глубокое изумление.

— Вы шутите?

— Нисколько.

— Об'ясните.

— Я обучаю их искусству владеть оружием и разбивать головы правителям, которые попирают интересы

народа. Проходим стратегию и тактику уличных боев. Не забудьте, я ведь кончил учебную команду на фронте, кое-что смыслю в этом деле.

— Вот как! — глаза сузились, пыщут огнем. — Похвально! Но полагаю, что это делается без ведома и разрешения правительства, даже без ведома своего полкового начальства. Какое вы имеете право самовольно отлучаться из казарм и обучать военному делу какие-то банды? Я немедленно доложу об этом командиру полка и поставлю вопрос в полковом комитете.

Разгорячившись, поручик говорит громко и резко. Вся канцелярия притихла. Полковые писаря с любопытством поглядывают на нас, предвкушая скандал.

— Доложить об этом вы можете. Это ваше законное право. Но знаете: я обучаю отряд рабочих-металлистов, отряд Красной гвардии и поэтому прошу вас слово «банды» взять обратно. В противном случае...

— Что в противном случае? Вы смеете мне угрожать?! Вы читали приказ.

Я быстро нагибаюсь к столу, хватаю массивную металлическую чернильницу.

— В противном случае я запущу этой чернильницей в вашу физиономию, господин поручик...

Ни слова не говоря, он повернулся на каблуках и скрылся в соседнюю комнату, оставив меня в картинной позе, с чернильницей в поднятой руке.

Я бросил чернильницу на стол перепуганного писаря, она с шумом покатилась на пол.

Я выскочил на двор и пошел в казарму. Все тело дрожало, как в лихорадке.

Когда я бываю на митингах и слышу злобные крики мещан и контрреволюционеров против распущенности солдат, я чувствую себя рядовым окопным солдатом, и мне кажется, что все удары буржуазных ораторов, все измышления буржуазных газет направлены против меня лично. Я прекрасно понимаю, что за этими упреками по адресу солдат скрывается органическая ненависть к революции. Если буржуазный оратор кричит: «Солдаты торгуют на панелях папиросами», это нужно понимать так: «Давайте старый режим. Восстанавливайте старые казарменные порядки. Давайте гусиный шаг, мордобитие и стояние под винтовкой».

Многие плачут по старым порядкам, но открыто признаться в этом нехватает решимости. Действуют исподволь.

Старые офицеры, оставшиеся за бортом после перевыборов командного состава, ведут агитацию против выборной системы.

Возмущаются приказом № 1.

В офицерском клубе капитан Замбар-Заречный открыто ораторствовал:

— Я понимаю, господа, некоторый сдвиг был нужен, но нельзя же доходить до такого безобразия, как выборы командиров самими же солдатами по какой-то жидовской четыреххвостке. Разве можно таким дуракам, как наши солдаты, давать свободу?

Офицеры ему не возражали. Сочувственно улыбались.

Проводится кампания по сбору теплых вещей для фронта. Очевидно, зимняя кампания неизбежна.

Ходили по квартирам с подписными листами.

Буржуазия кричит о войне до победы, а жертвовать у нее рука не поднимается. Дают мало.

Сегодня на полковом митинге наши большевики предлагали:

— Раз нужно для армии, обложить буржуазию в обязательном порядке.

Докладчик, член Петросовета, эсэр, внушительно ответил:

— Обложить нельзя. Это уже будет покушение на частную собственность. Частная собственность даже в Великую Французскую революцию не была тронута. Мы в принципе, конечно, за уничтожение собственности, но нельзя так, сразу...

Эс-эру очень горячо отвечал солдат первой роты Широков:

— Одежда, чулки, портянки взять у буржуев, говорить, нельзя. Частная собственность. Миллионы награбили. Дома каменные понастроили от военных доходов — и ничего тронуть у них не могли!..

Почему же меня берут и гонят на фронт? Я три раза ранен. Разве мое тело, моя жизнь — не собственность?

Почему мою собственность взять можно, а собственность миллионеров нельзя?

Вы говорите: Великая Французская революция. Значит, не Великая она, коли собственность буржуазную пощадила. А если она была Великая, то нам этого мало, мы хотим Величайшую!..

В обед ко мне подходит солдат Иванов.

— Был я намерен на митинге в городе. Оратор доказывал, что скоро социализм настанет. Все будет общее. Всех как бы в одну семью сгонят. Правда ай нет, товарищ вольноопределяющийся?

— Правда. К тому идем, товарищ Иванов. По-новому заживем скоро...

Он смотрит на меня несколько секунд и молчит, видимо, вдумываясь в новое для него положение.

Митинг по текущему моменту закончился вчера в казарме очень бурно.

Докладчик-меньшевик два часа витиевато и скучно говорил о наших долгах, о наших обязанностях в отношении союзников, о внутреннем положении и больше всего о необходимости продолжения войны.

Первым слово по докладу взял солдат Квашнин.

— Я шесть лет на военной службе безотходно трублю. С 1911 года маюсь. Шесть лет, семьей пошел, на цепи сижу. Скоро конец будет?

Жизнь проходит, молодость проходит, братцы, а маяте нашей солдатской и концов не видно... Вот я и говорю всем: довольно! К чорту все: и окопы, и вшивые казармы! Давай нам замирение! Давай роздых! Окаянные мы, что ли, всю жизнь носить эту серую шинель? Отпускай всех по домам. Семьи без нас измучились, хозяйство в развалку пошло!.. Передышку дайте!

Не дадите — новую революцию делать будем. Все перевернем вверх дном!

Под бешеный треск аплодисментов он сходит с бочки и скрывается в толпе.

Следующий оратор опять мямлит о необходимости войны.

И сотни глоток кричат ему угрожающе:

— Долой! Заткнись!

— Слезай сам, а то стащим!

— Хошь воевать — айда на фронт, а мы боле не хотим!

— Испробовали, и хватит с нас!

*

Смольный становится очагом революции. Ослепительные трескучие искры от него разносятся по всей России. Горючего материала кругом полно.

Фетишизм Таврического падает с каждым днем.

Таврический еще царствует. Но он похож на человека, про которого говорят: «Он мертвее мертвого».

Массы левеют.

В Петросовете левое крыло пожирает центр. Кого не может проглотить, выплевывает на улицу.

В сущности говоря, временному коалиционному правительству нужно бы уйти в отставку. Уйти, пока можно без крови и даже с театральным жестом...

Но оно не сделает этого. Временное правительство ослеплено собственным красноречием, убаюкано сладкой риторикой Александры Феодоровны¹

Министры намерены сидеть в своих креслах до того момента, когда солдаты ворвутся в Таврический и в Зимний с оружием в руках.

*

¹ Так солдаты звали Керенского.

Докатился слух, что после восстановления на фронте смертной казни военно-полевой суд расстрелял солдата за кражу яблок из помещичьего сада.

В газетах появились туманные заметки, не то оправдывающие этот расстрел, не то отрицающие самый факт расстрела.

Слух взбудоражил все полки. Сегодня на митинге в нашем полку докладчику по текущему моменту задали вопрос:

— На каком основании нашего брата за буржуазные яблоки расстреливают?

Докладчик был видный эсэр, член Петросовета. Уверенно заговорил заученные слова о мародерстве, о дисциплине, о чести «революционного» солдатского мундира.

Кончить ему не дали.

Загалдели. Ругательства, протесты, взлетая над бритыми головами слушателей, грузно шлепались в трибуну:

- Старый режим вертаете!
- Палачество развели для нас!
- Почему царя не казнили?!
- Министров почему не повесили?!
- Они, вишь, яблочков чужих не ели!!!
- Долой смертную казнь!
- Войну долой!
- Погодите, мы вам припомним эти «яблочки»!
- Придет наш праздник!..
- Долой!..

Маститый эсэр сошел с трибуны с поникшей головой под злые солдатские свистки и оскорбления.

Полк шумел прибоем.

— Кто-то высоким тенором кричал:

— В ружье, братишки! В ружье! Разнесем! Долой смертную казнь!

Ленин ушел в подполье. Но авторитет его в казармах продолжает расти. За него солдаты готовы в огонь и в воду.

Собрали деньги на покупку типографского оборудования для большевистской газеты «Правда».

Собрали мало. Но жертвовали охотно последние полтинники. Те, у кого не было денег, несли запасные рубахи, подштанники. Сборщик, не имея инструкции принимать вещами, смутился и отказал. Солдаты искренно огорчились.

— Как же мы-то? Чем мы виноваты, что денег нет?

Газету «Правда» считают своею. Ей верят. Она становится рупором многомиллионных солдатских и рабочих масс. «Солдатская Правда», «Рабочая Правда», «Окопная Правда». Она меняет названия, но облик ее неизменен. Казарма знает, почему меняются названия этой газеты, почему ее «запрещают».

Когда ее закрывали, солдаты второй роты хотели с винтовками идти «на выручку».

А третья рота предлагала идти разгромить все буржуазные и эсэровские газеты.

— За что нашу «Правду» закрыли?

— Око за око!

Полковой комитет еле уговорил всеобщее «волнение».

Послали резкий протест в совет

По всей России аграрные беспорядки. Мужики забирают помещичью землю, громят «имения» и «экономии», не дожидаясь санкции учредительного собрания, которое им обещают Керенский и Виктор Чернов.

Местные власти мужиков арестовывают и «вразумляют», как в старые годы.

Солдаты ежедневно получают из своих деревень письма, полные жалоб и стонов.

Эти письма революционируют казарму сильнее, чем зажигательные речи левых ораторов.

*

На Петроградской стороне пожар. Третьи сутки горят ракетные склады, фабрики, работавшие на оборону. Дым. Огонь. Жара...

Ни тушить, ни подступиться нельзя.

Огромный двор—пустырь, заваленный отбросами, мусором, навозом, материалами, сырьем, типичный «расейский» заводский двор — горит и тлеет.

Ночью прыгающее зарево пожарища освещает весь город.

В переулках светло, как на Невском.

Из раскаленных недр пылающих складов фейерверком взлетают над городом сотни шипящих ракет — со всем как на фронте — переливаясь синими, зелеными, желтыми, фиолетовыми, светло-голубыми огоньками.

Высоко в небе взрываются ракеты, с треском рассыпаясь мириадами искр. Сеют над городом мелкий золотой дождь.

Ветер подхватывает горящие опметки ракет, смоляной пакли, стружек, дранки, толи, швыряет их по всем

направлениям. Они плавно несутся над городом, как выгнанные из своего гнезда хищные огненные птицы.

Оседают на крышах домов, на дворах, падают в слуховые окна чердаков, повергают обывателей в панический ужас...

В кварталах, прилегающих к пожарищу, не спят по ночам. Добро стерегут. Сгореть бояться.

Наготовили бочки с водой, ведра. По ночам смотреть на пожар собираются тысячные толпы.

А тушить некому. Грязное дело.

Опасное дело.

Со всего города слетелись пожарники, но они бесильны совладать с разбушевавшейся стихией.

На четвертую ночь перекинулся пожар на большой завод, изготовляющий патроны.

Наш батальон — был дежурным по гарнизону — вызвали тушить.

Дежурный офицер, придя в казармы, энергично поднимал спящих людей.

Через полчаса восемьсот человек с прибаутками строились на дворе в колонны по отделениям.

— Равняйся! Смирно!

Команда исполняется четко, безукоризненно. Сказывается старая гвардейская выучка.

После команды «смирно», как всегда, наступила полная тишина. И в этой тишине кто-то настойчиво спросил:

— А куда, позвольте узнать, идем, господин капитан?

— Пожар тушить, товарищи. — Дежурный офицер недоуменно пожимает плечами. Он не понимает, зачем спрашивают, когда всем ясна тревога.

Не спрашивая разрешения ротного, из рядов второй роты выходит на середину рядовой Саврасов. Подбегает к лежащей у склада порожней бочке и, взобравшись на нее, раздражается речью.

— Товарищи! Куда мы идем? Подумайте, товарищи!.. Пожар тушить, говорят. Хорошо, мы не прочь. Но что горит, нужно спросить?

— Известно что, объяснили уж! — несется реплика из первой роты.

Саврасов, упоенный собственным красноречием, не слышит.

— Фабрики горят. А чьи это фабрики? Буржуазные они аль нет?..

Получилась заминка. Стройные колонны, уже готовые к выходу за ворота, расстроились, расползлись. Стягиваются к бочке.

Кто-то из прапорщиков дергает Саврасова за полу шинели, стараясь стащить его с бочки.

— Правду говорит! — летит колкий возглас из глубины серых шинелей.

Ободренный Саврасов отталкивает прапорщика и снова, взмахнув руками, философствует:

— Дак почему же мы, товарищи, как сознательные и революционные войска пойдем защищать экономические интересы буржуазии? Почему, а? Ответьте мне, господа командиры, сделайте милость.

Горит, ну и пусть горит. Грабленное все, ворованное, на рабочей крови замешанное, а мы тушить идем!

Разве для того мы революционную присягу принимали, чтобы буржуев из огня спасать?

Патронный завод горит? Пусть горит!

Все патронные заводы зажечь надо. Сжечь все дотла — тогда и война кончится, иначе никак не кончишь: дураков расплодилось столько, что еще на три года хватит... Правильно я говорю, товарищи, иль нет?

Серые шинели ответили единым вздохом:

— Правильнаа!!!

Соврасова сначала слушали с улыбкой, отпускали остроты. Потом смолкли, серьезные стали. Молчали и офицеры.

У бочки импровизированный митинг вырос.

На бочку вылез фельдфебель Заболотный.

— Товарищи! Саврасов чепуху мелет! Фабрики буржуазные — верно. Но ведь мы собираемся передать всю власть советам и сделать эти фабрики народным достоянием. Это как? Что мы будем обращать в народное достояние, если все фабрики сгорят?

— Верна! — выдавливает десяток голосов.

Шум. Гам. Крик. Столпотворение.

— Тушить надо итти, чего там!

— Не ходите, братва! Пуцай полыхает!

— Когда власть наша будет — тогда и тушить пойдем.

— Дурак!

— От дурака и слышу!

Один оратор сменял на трибуне другого. Митинговали до утра. А над городом трещали ракеты, полыхало пьяное зарево пожара.

В шесть часов утра, очумелые от ругани и бессонницы, послали делегата в большевистский комитет за советом. Постановили:

— Как скажут большевики — так и сделаем. Скажут: «Нужно тушить» — в огонь полезем. Скажут: «Не нужно» — пулеметами на пожар не выгонишь.

*

Нельзя оставаться между двух огней.

Я делаю выбор.

Иду с большевиками.

Еще несколько недель тому назад это казалось для меня невозможным.

Сегодня возможно.

Я не обольщаю себя никакими надеждами. Я знаю, что предстоит упорная и длительная борьба, изнурительная работа, новые лишения. Все это знаю.

Знаю и то, что солдатская масса, скомплектованная из мужиков, сейчас же после заключения мира с Германией хлынет потоками по домам. Те, которые сегодня яростно защищают большевиков, завтра, получив «свое», уйдут в себя.

Война, вероятно, примет новый характер. Офицерство исподтишка поговаривает об организации «своих» батальонов смерти.

На развалинах старой армии большевики будут создавать новые рабочие революционные полки.

Я против войны. Я ненавижу войну со всеми ее ужасами, со всем ее безумием.

И именно поэтому я принимаю решение стать под знамена большевиков.

Большевистская революция — война войне. Это последняя война. Это единственная справедливая война.

Рабочий класс — по своей объективной роли в современном обществе — этичнее, справедливее и прогрессивнее всех остальных слоев населения. Современный рабочий в силу своего положения в производстве и в обществе абсолютно не заинтересован в империалистической войне. Мелкое крестьянство тоже не хочет войны, но оно распылено и не организовано.

Рабочий класс — единственный класс, который не только не хочет империалистической войны, но может активно противодействовать этой войне.

«Война войне!» — этот лозунг является самым прогрессивным, самым разумным лозунгом переживаемого момента.

Вот почему меня так радует рост рабочих отрядов Красной гвардии. Вот почему так легко и радостно работать над укреплением этих отрядов.

Я ненавижу войну. И во имя этой ненависти к войне, во имя этой любви к жизни я вольюсь серым незаметным солдатом в рабочие отряды и буду сражаться за новую жизнь. Буду воевать против войны. Против условий, порождающих войны...

Путь тяжелый, но радостный.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Вчера еще был туманный призрак власти временного правительства. Керенский издавал приказ о закрытии большевистских газет: «Солдат» и «Рабочий Путь». Диктовал войскам делать то-то и то-то, передвигал их с места на место.

Сегодня — диктатура пролетариата. Второй Всероссийский съезд советов объявил правительство Керенского низложенным.

Роды новой власти оказались легкими. Перед съездом напряжение было большое. Волновались обе стороны. Керенский с пафосом заявлял:

— Только через мой труп большевики придут к власти!

Остальные министры вторили премьеру:

— Да, да! Через наши трупы только!

Но Керенский как был, так и остался комедиантом. При первых выстрелах удрал из Петрограда, переодевшись в матросский костюм. Всех своих коллег, поклонников и прихлебателей бросил на произвол судьбы.

— Спасайтесь сами, как знаете. Я вам не костыль, чтобы на меня опираться.

Ждали грохота канонад, уличных боев, пулеметной трескотни, баррикад, а переворот совершился под музыку двух холостых орудийных выстрелов с «Авроры».

Ни один полк не выступил в защиту Керенского.

Юнкера, батальон смерти, ударники, георгиевские кавалеры и женские роты, стянутые к Зимнему дворцу для охраны временного правительства, представляли собой по сравнению со стотысячным революционным гарнизоном «Михрюткино войско».

Без всяких усилий, шутя, «Михрюткино войско» было выброшено из Зимнего и в панике рассеялось по окраинам столицы.

Арестовывать «гвардию» Керенского большевики не захотели.

Ни крови, ни жертв...

— Как-то вот только обойдется в Москве? В провинции? Фронт, конечно, за нас.

*

Только-что вернулись с «фронта» из-под Царского села.

Керенский набрал горсточку «верных» войск и решил нас «попужать», но ничего не вышло.

С небывалым энтузиазмом выступили из Петрограда все полки. Рядом с гвардейскими батальонами шли, уже «созревшие» вполне для боя отряды рабочей Красной гвардии.

Войска Керенского не имели над нами ни количественного, ни морального перевеса. Но в бой все же ввязались.

Под Царским и под Красным селами смерчем закружилась пурга, загревели выстрелы.

Рыли окопы, ставили рогатки, мотали колючую проволоку.

Но все это пахло бутафорией. Походило скорее на маневры, чем на всамделишную войну. Мы чувствовали слабость противника, идейный разлад и неустойчивость в его рядах.

Лежа в цепях на подступах к Петрограду, мы ни одной минуты не верили в серьезность борьбы с Керенским.

И эту уверенность в своем превосходстве над противником мы не утратили бы даже тогда, когда узнали бы, что против нас двигается весь фронт с портретами Керенского на знаменах.

Так велико было сознание правоты. Так сильна и единдушна была воля к победе у каждого стрелка.

Против нас были двинуты сначала кавалеристы в конном строю, потом цепи пехоты под прикрытием броневиков.

Мы подпускали их на выстрел охотничьего ружья и одним дуновением опрокидывали назад.

Били щелчками в лоб, как комаров, и не было в сердцах наших настоящей злобы, обычного воинского иступления, нарастающего в бою. Не было потому, что попытка Керенского взять Петроград казалась смехотворной.

Взятых в плен раненых солдат и офицеров любовно перевязывали, поили чаем, угощали бисквитами и отечески журили:

— В своем ли вы уме?

— Против кого идете?

— Мы — народ, демократия. Россия за нами, и за нас миллионы трудящихся. Мы за мир.

— Ваш Керенский — антюрист, шарлатан!

Пленных без конвоя направляли в город, в госпитали, добродушно улыбались. Их взгляды говорили нам: «виноваты, больше не будем». Не война — маневры.

В городе начались погромы винных складов. Участники — уголовный элемент и мещане. Многие переодеты солдатами, а может быть, и в самом деле солдаты. Несомненно, что погромами руководит чья-то опытная твердая рука. Кто-то делает «подводы», указывает погромщикам «ренсковые погреба» и подвалы, с которых давно-давно сняты заманчивые зеленые вывески.

У разбитых винных подвалов происходят дикие сцены. Говорят, что в одном подвале у Невской заставы под напором толпы раскатились бочки с вином, наложенные до потолка, и на-смерть задавили до десятка пьяниц.

В другом подвале, в районе Лиговки, из разбитых бочек напустили на пол в аршин вина. Из пыльного заплесневелого подвала сделали винный бассейн. Из бассейна черпают ковшами, ведрами, пригоршнями, банками из-под консервов. «Деловые» тащат вино домой, чтобы спекулировать на нем. Рыцари зеленого змия — «бескорыстные джентльмены» — выпивают свою долю тут же.

Напиваются до одури, до горячки, испражняются в винный бассейн и снова пьют из него...

Рассказывают, что несколько человек «пьяных, как стелька», утонули (захлебнулись) в винном бассейне.

Оставшиеся в живых вытащили утопленников за ноги и, ничуть не смущаясь, принялись допивать благодатный напиток.

— Спирт ничем не испоганишь!

Милиции нет. Она только организуется и совершенно бессильна прекратить винную вакханалию.

Вышшим властям тоже не до винных погромов. Перед ними ежечасно всплывают сотни сложнейших государственных вопросов, которые требуют немедленного разрешения.

Кроме того, пропасть возни с фронтом, с армией.

*

На ликвидацию винных погромов — наконец-то — решили бросить воинские части. В помощь милиции формируются специальные дружины из трезвенников-солдат и офицеров.

Я записался. Назначили «главковерхом» отряда трезвенников в двадцать пять пштыков.

Ночью ходили в «дело». В районе Суворовского проспекта «разбили» и «рассеяли» две банды погромщиков. Потерь с нашей стороны нет.

Мои ребята возмущены погромами и рвутся в бой. Приходится их сдерживать.

После нескольких залпов в воздух, когда банда пьянчужек бросилась на утек, дружинники беспощадно молотили их прикладами.

Многим повытрясли хмель и, пожалуй, навсегда отбили охоту к погромам.

Один из дружинников говорил мне:

— Товарищ начальник! Чего зря поверху палим? Прикажите стрелять прямо в эту сволочь. Разве это люди? Мы революцию делаем, за новую жизнь боремся, чтобы всем хорошо было, на нас с удивлением смотрит

весь мир, а эта мразь шухер устраивает. На всю революцию пятна кладет. Эх, так и чешутся руки, ей-богу!

Другие тоже настаивали на этом.

Но у меня категорический приказ Петроградского совета «пускать оружие в ход только при случае нападения на дружинников».

Дисциплина прежде всего.

Совету виднее.

Знаю, приказ отдан не из сантиментальных побуждений.

Получили приказ: выделить из батальона отряд в четыреста штыков и срочно направить его в Могилев на Днестре в распоряжение главнокомандующего, прапорщика Крыленко.

Волнуется казарма.

— В Могилеве нам нечего делать! Даешь демобилизацию. Даешь проходное свидетельство на родину!

— Каки таки отряды??

— Опять на фронт?

— Что за прапорщик-вояка объявился?

— Для чего переворот делали?

— За что боролись?

— Опять Керенщина какая-то?

— Никуда не поедем, с места не сдвинемся!

Митинг собрали на дворе.

Пришли все до одного.

— Слово имеет представитель Петросовета.

Хмуры солдатские лица. Ни одного хлопка, которыми всегда встречали за последнее время появление на три-

буне представителей совета и военно-революционного комитета.

Оратор выдался блестящий.

Начал издали, но с первых же слов ухватил каждого солдата за сердце и так держал в руках, не выпуская до самого конца.

На сердцах играл, как на скрипке.

И плакали и смеялись, когда он хотел. Дышали одним вдохом с ним. Ловили глазами и ртом каждый жест его руки.

Безжалостно разбередил он не зажившие раны. Воскресил в памяти и старую царскую казарму, и гусиный шаг, и словесность, и зуботычины, и колку чучел, и окопную жизнь.

Вспомнил про урядников, станowych, земских, про налоги, про помещиков, про буржуазию.

Говорил два часа.

Море дышало на город льдом и вязкими туманами. Люди ежились от холода, но слушали, не прерывая ни звуками протеста, ни возгласами одобрения.

— Дело говорит!

Фронтовики, закаленные в боях, плачут навзрыд и, стыдясь своей слабости, своих слез, уходят из тесного круга застывших в немой неподвижности тел куда-нибудь за угол, чтобы притти в себя, протереть глаза непослушные.

Когда все, что нужно сказать, было сказано, оратор спросил сурово-сухим голосом:

— Товарищи солдаты! Хотите вы, чтобы был восстановлен старый режим?

Зашевелилась толпа.

Яростно и злобно передернулись обветренные шафранные лица.

Горохом окнуло по двору могучее эхо.

— Не хотим! Ляжем костями — не дозволим!

Сратор махнул шалкой, призывая к порядку.

— Так слушайте, товарищи, дальше. В Могилеве ставка верховного главнокомандующего, генерала Духонина.

Взяв власть в свои руки, мы предложили Духонину немедленно прекратить военные действия на всех фронтах и начать переговоры о мире. Духонин отказался выполнить наш приказ.

Тогда мы назначили верховным главнокомандующим нашего товарища, большевика, прапорщика Крыленко.

Мы сделали это для того, чтобы выполнить волю широких трудовых масс, чтобы обеспечить дело мира.

Генерал Духонин отказался сдать дела прапорщику Крыленко.

Генерал Духонин назвал второй Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «съездом собачьих депутатов».

Генерал Духонин не признает власти советов.

Генерал Духонин сгруппировал вокруг себя все реакционное офицерство, всех монархистов, он угрожает завоеваниям революции, срывает нашу политику мира.

Товарищи солдаты! Вы — революционный гарнизон красной столицы. Вы теперь не лейб-гвардия его величества, а Красная гвардия революции. Слово теперь за вами.

Нужно выбросить из ставки вооруженной рукой зарвавшегося царского генерала.

Согласны ли вы выполнить приказ советского правительства?

— Согласны! — зычно гудит ответное эхо.

— Обещаете ли выполнить свой революционный долг до конца?

— Обещаем и клянемся!

— Если да, то сегодня же отправляйтесь в Могилев.

Если нет, бросайте винтовки и бегите по домам, идите танцевать с девками, торговать селедками, менять ба-
рахло в Александровке вместе с дезертирами...

Но помните, что в Могилеве сейчас решается судьба нашей революции.

И от вас самих зависит стать верными, бесстрашными
рыцарями революции или палачом ее...

Оратор кончил.

Полк точно взбесился.

Летят вверх измятые серые шапки, качают оратора,
членов полкового комитета. И «ура», такое громкое и
искреннее, какого, вероятно, никогда не слыхивала ка-
зарма, волной переливается из одного конца двора
в другой.

— Да здравствует Ленин!

— Да здравствуют советы!

— Смерть Корнилову и Духонину!

Вечером грузились в вагоны.

Тихо, без проводов и помпы, двинулись в Могилев
сокрушать непокорного генерала Духонина.

С нами вместе выехал отряд революционных моряков
Балтийского флота.

Быстро летим в Могилев.

На всех станциях нас пропускают вне очереди. Матросы на остановках распевают: «По морям, по волнам». При отходе поезда кричат:

— Даешь Духонина! Урр-а!

Настроение у всех бодрое, революционное, но должной дисциплины все-таки нет.

На одной станции какой-то дурак крикнул вдоль вагонов.

— Братва! Паток у выдают бесплатно! Налетайте!

И все сломя голову бросились с котелками за патокой.

Коршуньем налетели на сорокаведерную бочку, стоящую на платформе. Вышибли дно. Давя друг друга, черпали в котелки липкую густую полузастывшую жидкость и бегом летели в теплушки.

Дело было после второго звонка.

Очухавшись в теплушке, пробовали «патоку» языком и в ярости выплевывали, матюгались... В котелках оказалась смола...

Котелки на каждой остановке мыть бегали, песком оттирали смолу...

*

Смена бригады. Стоим сорок минут. В вагон с помощью женщины влезает человекоподобное существо в засаженной солдатской фуфайке. Вместо ног — два обрубка. В руках короткие костыли.

Положил костыль на пол. Окинул вагон пристальным жалающим взглядом.

— Внимание, граждане, братишки. — Вынул проворно из кармана две деревянных солдатских ложки.

Ударил ложкой о ложку, и дробно застрекотал веселый деревянный аккомпанемент.

Женщина, по-простонародному подперев щеку ладонью, выдохнула напев популярной песенки:

Крепко бабушка Ненила
Революцию бранила:
Вот свобода, так свобода,
Нету хлеба у народа...
Батюшки!

Расплылись в улыбках грубые солдатские лица. Со-чувственно мотают артистам головой. Обступили из всех углов. Гул одобрения и восторга.

— А еще можешь?

— Могу!

— Качай дальше!

И опять дико застрекотали в привычных руках обтертые лысые ложки. Пели оба. Мужчина — хриплым грудным баритоном, женщина — мягким надтреснутым сопрано.

Лихим перебором оборвался мерный стук деревяшек. Смолкла песня. Просительно смотрят из-под красных облезлых бровей бесцветные глаза.

— Товарищи! Пожертвуйте контрибуцию в помощь жертве империалистической войны. Ноги в Карпатах оставил... Сами видите...

Женщина кладет на ладонь шапку и молча обходит всех.

В шапку щедро сыплются зеленые двадчатки ¹.

¹ Двадцатикопеечные марки, ходившие тогда наравне с серебром.

Безногий «сын свободы», улыбаясь, тепло прощается с нами и благодарит.

На кой черт ему, безногому, свобода?! У человека отняли самое ценное, что он имел.

И вместо этого дали: две ложки, право взять поводыря и распевать в вагонах на ряду с агитками революционных поэтов пошлые и глупые анекдоты.

Таких «сынов свободы», неспособных к труду, теперь, вероятно, миллионов десять...

Как они будут жить? Где возьмет истощенная страна средства для их обеспечения?

Миллионы нищих-калек!.. Да, войну пора кончать. Какой угодно ценой, но мир!

*

Остановились в тридцати верстах от Могилева. Разведка сообщила, что нас уже «ждут».

Духонин приготовился встретить нас с «хлебом», с «перцем» и с «солью».

На перроне станции выставлены пулеметы и пушки дулами на Москву.

Наутро вылезли из вагонов. Развернулись рассыпным строем, цепями, бесшумно двинулись на спящий предутренним сном город.

Вторая разведка донесла:

— Артиллеристы, пулеметчики и казаки Духонина отказались стрелять в представителей петроградского гарнизона. Бросили оружие и разбежались.

В городе безвластие.

Духонин покинут всеми и не имеет никакой реальной силы.

Погрузились в вагоны и с песнями влетели в Могилев. Духонин, действительно, оказался генералом без армии.

Его подняли с постели и объявили арестованными и посадили в одну из наших теплушек. Могилев взяли без выстрела.

Н. В. Крыленко принял верховное командование.

В уютном белом домике на живописном берегу Днепра, с радио-мачтой на крыше, где вчера еще во главе с Духониным заседали убежденные седины важные генштабисты в орденах и густых эполетах, где, звеня шпорами, скользили по паркетам бравые адъютанты, где пахло дорогими французскими духами и английским табаком, сегодня крепко обосновались приземистые кривоногие «братишки» в темно-синих бушлатах, в широченных клешах и высокие дородные гвардейцы-солдаты с желтыми петлицами, в парадных бело-лакированных поясах.

Бонч-Бруевич, адъютант нового главкома, высокий человек (чуть ли не вдвое выше Н. В. Крыленко), в желтом нагольном мужицком полушубке, налаживает связь с армией, восстанавливает порядок на фронте и в городе.

И радио-мачта из белого домика на живописном берегу Днепра уже гонит волны-приказы:

«Всем.

Всем.

Всем.

Военные действия прекратить. Перемирие на всех фронтах...

Главковерх Н. Крыленко».

*

Патрулями рассыпались по городу. Оцепили все переулки. Патрулям приказ: «Произвести повальные обыски».

Офицеры и генералы бросали свои части на произвол судьбы, удирали, как крысы с тонущего корабля.

Многие брели с фронта пешком, спрятав в карман золотые погоны, переодевшись в рваную солдатскую шинель, робко озираясь на сторожевые пикеты по дорогам, обходя, точно воры, стороной станции, пересыльные пункты.

Были и такие, которых солдаты, слегка поколотив за прежние обиды и издевательства, просто выгнали с «миром» из полков, снабдили суточными, проходным свидетельством, пустили на все четыре стороны...

«Все пути ведут в Рим».

Все дороги с фронта ведут в ставку верховного главнокомандующего.

Вся эта золотопогонная масса «беженцев» хлынула под крыло Духонина в надежде найти у него прибежище и защиту, получить советы и указания. Ставка, как губка, впитывала в себя всех «униженных» и «оскорбленных» Октябрьской революцией, всех выбитых из обычной колеи военно-фронтowej жизни.

Но ставка сама была в агонии.

В день нашего приезда, когда воинские части, охранявшие ставку, «демобилизировали сами себя», Духонин отдал всем командирам без армии, которые его окружали, единственно возможный приказ:

— Спасайся, кто может...

Более расторопные кинулись врассыпную на Дон, на Кубань, в Оренбургские степи, подальше от центра, чтобы

укрыться там от нависшей красной напасти, выждать время и поднять верное старому укладу жизни казачество.

Остальные, растерявшиеся вконец и изверившиеся во всем, не имевшие денег на выезд, остались в Могилеве.

Укутались по теплым уютным квартирам, схоронились, как страусы в песок головой, отсиживались, полагаясь на милость победителей-большевиков: «авось не с'едят».

В каждом доме—офицеры, генералы, военные чиновники, их жены, любовницы, содержанки, денщики, ординарцы...

И куда делся прежний гонор и блеск?

Сжавшиеся в комочек, побледневшие, равнодушно глядят на матросов, которые с прибаутками переворачивают пуховики, подушки, перины, извлекают спрятанное оружие, патроны, ручные гранаты.

Некоторые обыски и разоружение воспринимают болезненно, как несмываемое оскорбление, как позор.

Сцена на главной улице:

Высокого, представительного генерала останавливает патруль.

— Ваши документы, генерал?

Надменное лицо с красивым римским носом становится еще надменнее. И полный подчеркнутого презрения жест.

— Извольте, господа солдаты.

Три солдатских головы склоняются над протянутым лоскутком бумаги. Три лба сведено в морщинах.

Прочли.

Возвращают.

— Будьте добры снять оружие, господин генерал.
На лице генерала взрыв негодования.

Нижняя, синяя от бритья челюсть предательски прыгает.

— Оружие? Но у меня нет казенного. Это пожалованное. Я награжден золотым оружием. Если угодно — вот документы, господа...

— Снимайте оружие, генерал. Ваши документы недействительны. У вас грамота царского правительства и правительства Керенского. Они недействительны. Понимаете? Революция не доверяет вам оружия. Извольте снятое немедленно и передать его нам, не то...

Три штыка сомкнулись вокруг генерала, точно по команде.

Коротким и быстрым движением он обнажил свою фамильную гордость — «золотую саблю», переломил ее через колено, как сосновую лучину, и бросил к ногам онемевших солдат.

— Берите!..

Солдаты опускают штыки. Один бросается поднимать сломанную пашку.

*

Могилевские уголовники пользуясь временным безвластием в городе, начали грабежи, насилия. Ночью вырезали целую еврейскую семью.

Бандитам и грабителям объявили террор.

Всех подозрительных оборванцев арестовали и выгнали за город.

— Идите, куда знаете. Воротитесь в город — к стенке поставим. Вот — бог, вот — порог.

У двух бродяг, с низкими лбами преступников, нашли в карманах награбленные золотые вещи. Вывели бродяг на запасный путь за станцию, пристрелили. Трупы снегом пушистым забросали, чтоб глаза не мозолили.

Порядок в городе восстановился.

*

Получили лаконическое сообщение.

«Генерал Корнилов бежал из-под ареста. Текинцы, охранявшие генерала, вместе с ним бежали».

Всех охватило возмущение. Густым хмелем ударила злоба.

Особенно неистовствуют матросы.

У теплушки, где сидел арестованный Духонин, колыхнется, одержимая злобой, большая толпа.

В мутной реке серых солдатских шинелей поплавами ныряют черные, перевитые георгиевской лентой, матросские фуражки.

— Корнилов убежал, и этот убежит не сегодня — завтра!

— Даешь сюда Духонина!

— Да-еешь, чорт возьми!

— Сами рассудим, здесь на месте!

— Раз-раз и в дамки, ваше превосходительство!..

Часовые у генеральского вагона безмолвствуют, как изваяния.

Напирая на часовых, «активисты» из толпы вызывая спрашивают:

— Кого охраняете?

— Кто вас поставил мерзнуть на часах у этого гада?

— Тут, може, никакого Духонина нет? Пустой вагон стережете. Генералы — они хитрые. Хитрее кикиморы.

— Открывай вагон, чего там!.. Не убьем, все равно убежит.

Часовые (фронтовики-солдаты нашего батальона) троекратно кричат толпе:

— Разойдись.

Но толпа все увеличивается и напирает.

Часовые — наизготовку. Предостерегающе щелкнули затворы. Толпа вздрагивает, отливает на несколько шагов назад.

Летят ругательства.

— Ах, вы, паршивцы эдакие!..

— Вы по своим стрелять, да?

— Золотопогоннику продались?

— Духонинскую шкуру отстаиваете?

— Сколь он вам заплатил?

Ежатся, бледнеют часовые от незаслуженной обиды. Оскорби кто-нибудь другой — на месте смерть. А тут свои. Как стрелять по ним?

Такая беда!

Экзальтированные матросы из толпы отстегивают кобуры наганов, собираясь не то «попужать», не то «в сам деле» стрелять в несговорчивых часовых.

— Снимайтесь с поста, лешаки лопоухие! Честью...

У некоторых просыпается на минутку благоразумие, защищают часовых.

— У них устав. По уставу не могут они Духонина выдать без приказа начальства. Часовой — лицо неприкосновенное. Троньте их — всем амба.

Матросы не уступают.

Пахнет крупным скандалом.

Кто-то бежит на станцию, звонит Н. В. Крыленко.

Фыркая и вздувая снежную пыль, подлетел к вагону защитный мотор главковерха.

Машину вмиг окружили со всех сторон и замерли в настороженном любопытстве.

Главковерх открыл с машины импровизированный митинг.

— Товарищи-солдаты!.. Нехорошее дело затеяли вы. Духонин — враг советов, враг революции, но на самосуд вам я его выдать не могу. Самосуд — это гнусная расправа, от которой с негодованием отвернется всякий честный революционер!

Главковерх говорит так просто и ясно. Голос негромкий, но звучит достаточно отчетливо и проникает в самые дальние ряды.

Слова, отскакивая от машины, булыжником прыгают по головам толпы и действуют отрезвляюще.

— Я завтра же отправлю генерала Духонина в Петроград, где он будет предан революционному суду и, надеюсь, получит по заслугам. Прошу успокоиться и разойтись.

Некоторые присмирели, но горячие головы еще ворчат. Они настаивают на своем. Они и Крыленко верят с оглядкой.

— Сам в золотых погонах. Хоть и говорится: «курица не птица, прапорщик — не офицер», но все же...

— Откройте вагон! — приказал главковерх караульному начальнику.

Широкая дверь с грохотом скользнула на роликах до отказа.

На самом краю платформы в рамке вагона со скрещенными на груди руками стоит бывший главковерх генерал Духонин.

Сквозь тонкие стенки вагона он слышал все переговоры.

Равнодушно-презрительным взглядом загнанного борзыми, соструненного охотниками волка оглядывает беспокойно мечущихся солдат и матросов.

Толпа опять наддала поближе к вагону. Сотни раскаленных тупым солдатским гневом зрачков впиваются в молчаливую генеральскую фигуру.

И в наступившей тишине, точно птица, вспорхнул удивленный возглас матроса:

— Молодой какой кровопивец, а уж генерал! Выслужился, гад!..

— Лет тридцати с небольшим, поди! — тотчас же подсказывает другой голос.

На них цыкают:

— Тише, вы!

Новый главковерх поднимается в вагон и становится рядом с бывшим главковерхом.

Только черные угольки — глаза, сверкающие угрюмо-сосредоточенной, тугой генеральской бессильной злобой — выдают его муки и волнения.

Неподвижно, как статуя, стоит Духонин.

— Товарищи! — говорит Н. В. Крыленко. — Духонин больше не генерал, я разжаловал его.

Коротким движением руки он срывает с бывшего главковерха золотые поблекшие, помятые погоны, и швыряет их к ногам толпы.

— Вот вам смотрите, товарищи!

Лавина шинелей и бушлатов на минуту замирает в восторженном реве: «ура».

И затем, ослабев от крика, разнобойно гудит, довольная «разжалованием».

— Правильно!

— Так его, товарищ Крыленко!

— Одобряем по всем пунктам...

Страсти как-будто улеглись. Облик раз'яренной толпы принимает мирный характер.

Злобные выкрики сменились добродушными шутками.

Маленький главковерх успокоенно идет в сопровождении высокого ад'ютанта к автомобилю. Пыля снегом, главковерх летит на послушно-легкой машине в свою ставку, где туго стянуты в узел все нервы лежащей в окопах армии.

Доволен, что укротил «мятеж», предотвратил расправу над пленником.

Темно-синие бушлаты и серые шинели провожают машину главковерха восторженным «ура».

Машут папахами.

— Да здравствует красный главковерх!

А через час у теплушки бывшего главковерха опять шмелиным роем гудит агрессивно настроенная толпа матросов и солдат. День уже кончается. Влажный холод сочится из-под снежных облаков. Жесткий напористый ветер, сея сумрак, мнет дыхание и щиплет покрасневшие носы.

И закрываясь от ветра рупором ладони, протяжно кричат перетянутые ремнями бушлаты:

- Даешь Духонина!
- Да-еешь!..
- Чего там, Крыленко!.. Он сам офицер!
- Напирай, братишки, смелее!

Караульный начальник опять бросился на станцию телефонировать Крыленко.

Но часовые у вагона оказались уступчивее.

Матросы уже отбивают прикладами замок. Раскрывают полотно двери. Духонин, как и час тому назад, подходит к рамке вагона и, протянув к толпе руки, хочет что-то сказать.

Теперь он побледнел, и видно, как дергается в нервной дрожи бритая генеральская челюсть.

Матрос в косматой черной шапке проворно вскарабкался в вагон и, юркнув в «тыл» Духонину, с радостным рыком шарахнул его штыком.

Упругое сытое генеральское тело, как подрезанный колос, падает через борт вагона на снег, увлекая за собой и матроса с винтовкой.

Уже, должно быть, мертвого быют прикладами, штыками, кортиками, пинают ногами.

Все обиды и оскорбления, вынесенные из недр старой армии, вымещают на этом последнем из могикан уходящего мира.

К месту происшествия опять прикатил автомобиль Крыленко.

Толпа встречает его наружным виноватым молчанием.

Но Духонину помощь не нужна...

Расстроенный Крыленко, махнув рукой, молча поворачивается и уезжает в ставку.

Сделав свое дело, толпа редет и в угрюмом молчании расходится.

*

Духонин погиб на своем «посту», защищая грудью явно безнадежное дело, поддерживая своими плечами сгнившее, накренившееся, вот-вот готовое упасть здание.

Легкий толчок — без треска, без грохота рухнуло пережившее себя здание и сломало хребет самому Духонину. Не успел посторониться.

На остром шпиле белого домика, где была ставка Духонина, парусом вздулось красное знамя с золотыми буквами. Рвется вверх, как огромная птица, попавшая в силок. Красное знамя — символ труда и борьбы. Теперь — победы нового мира над старым.

Гибель Духонина — последний сокрушительный удар по старой армии. Стержень капиталистической России сломан. Не подняться ей больше никогда.

С дезорганизованного фронта самовольно снимаются и движутся «домой» целые роты, батальоны, полки, дивизионы, батареи...

Тучи пепельно-серой саранчи — конца-краю не видно.

Продают дорогой казенных лошадей, снаряжение, оружие... Делят «поровну» полковые запасы, полковые суммы, годами накопленные.

Идут, едут, ползут, распыляются грозно ревущим мутным потоком от начисто обглоданных, опустошенных прифронтовых равнин в необъятную ширь и глубину вздыбившейся, беспокойно мятущейся страны.

Докатился поток до железных дорог.

В один миг смял, слизнул весь годами установленный ритм движения. Все завертелось в клубе серой пыли.

Нет ни тарифов, ни сеток, ни расписаний, ни литеров; нет ни жестких, ни мягких вагонов — все сравнялось.

Прибывает на станцию издыхающий от бескормья обовшивевший полк.

В кабинет начальника дерзко врывается толпа встре-
панных, голодных, оборванных людей с распиленными,
беспокойно бегающими, полными ненависти и мрачного
огня глазами.

— Кто здесь начальник станции?

— Что угодно, гражданин?

— Гони нас без промедления сею минуту дальше.

— Путь занят, товарищи, не могу...

Яростно сжимаются обзетрепанные, потрескавшиеся от
морозов и грязи нервно грожащие руки. Звелят приво-
димые в действие затворы карабинов, сухо щелкает взве-
денные курки наганов, браунингов, маузеров...

— Товарищи!.. Паровоз неисправен, нет топлива. Нет
ни одного свободного машиниста!..

— В последний раз тебя, саботажник, спрашиваем:
отправляешь дальше или нет? Три минуты на покаяние
души... Хочешь? Нет?! Тогда гони дальше — цел будешь.
До другой партии, по крайней мере...

Разбитой клячонкой плетется из депо паровоз с полу-
потухшей топкой.

Раненым зверем стонет, скользя по запасным путям.
Лязгая стальными челюстями маховиков, лениво под-
ползает к гудящему роем эшелону. Резким толчком про-
бует сопротивляемость вереницы оледенелых, разбитых
вагонов.

— Пошел! Пошел!

— Крути, Гаврюша!

Серые фигуры бегут по бокам вагонов, уцепились, тянут, подщелкивают...

— Сама пойдет!

— Дашь Россию!

И мчится поезд без огней по занесенному снегом, никем не расчищаемому пути.

Россия в дыму пожарищ.

Высоко в холодно-льдовое, хрустальное небо тянутся по ночам фонтаны золотисто-лиловых огненных брызг, столбы дыма.

В дымном мареве степи, леса.

Догорают «дворянские гнезда».

Под гуд и вой поземки рушатся и шипят головнями намозолившие мужикам глаза барские усадьбы, экономии, фермы, терема, виллы...

Мир хижинам — война дворцам!..

Гибнет старая Русь...

Рождается новая страна, страна Советов, яркий факел революционного переустройства мира.

Петербург—Могилев на Днепре.

Юго-западный фронт—

1914—1917 гг.



